

## Я был в витрине

Григорий Аронович Гойхман. В моих тогдашних глазах глубокий старик. Фигура, как веретено — широкие бедра, большой живот, узкие плечи. Или как юла. Но юла на излете, когда движение вот-вот прекратится: покачивание, постепенная потеря равновесия, замедление вращения и от того трещинки и царапинки уже не смазаны, а видны с каждым оборотом отчетливее.

Он не может долго сидеть за своим начальственным столом, он поминутно встает и ковыляет туда-сюда по своим важным маленьким делам, в сумме составляющим одно большое дело: руководство художественной мастерской универмага. Его потребность вращаться опережает его возможности, и он голосом заполняет возникающие промежутки. Он еле слышно бормочет, и мне кажется, что я физически могу определить это самое несовпадение потенциального и кинетического в его стариковской сосредоточенности. "Это мы прибываем сюда... Ищем молоточек... Так, гвоздик сюда... Упал гвоздик... Поднимаем... Мо-ло-точ-ком... Второй гвоздик... Упал... Поднимаем... Трости вашу мать неньку... Живот меша-ет... Поднимаем..."

Как бы рано я ни пришел на работу — он уже сидит за своим столом. Мастерская в подвале универмага, там, где склады парфюмерии. Запахи мыла, одеколona, духов и тому подобного перебивают запахи клея и краски. До сих пор в моей памяти воспоминания о работе художником-декоратором связаны с осточертевшими ароматами парфюма. Григорий Аронович сидит за своим столом, делает что-то и бормочет. Или напевает, но и напевая, бормочет.

— Здравствуйте, Григорий Аронович, доброе утро.

— Да-да... Что подельваешь? Как мама?

Старый ловелас. О его былых похождениях любят рассказывать уборщицы. Мама несколько раз заходила проведать меня на моем первом рабочем месте. Я любил ее посещения еще со времен детского сада. Признанная красавица, она и в школе, и в техникуме, и на работе своим появлением поднимала мои акции, создавала вокруг меня атмосферу значительности. Когда она появилась первый раз в мастерской, Григорий Аронович, сопя, выбрался из-за своего стола и решительно заковылял ей навстречу. Я представил их друг другу и дальше давился от смеха, наблюдая за косолапой галантностью

моего начальника. Я уже видел его обращение с дамами попроще и помоложе, и его галантерейные выкрутасы перед мамой казались мне сплошным лицемерием. Когда он склонился над маминной рукой (не потащил ее к своему лицу, а именно склонился над ней), я с испугом вспомнил, что верхняя его губа всегда покрыта испариной. Каждый раз, сидя у его стола и выслушивая очередные поучения, я разглядывал эти капельки пота, затекающие в ложбинку губы под носом. И так, он склонился над маминной рукой, смешно отставив правую ногу, — склоняться мешал обширный живот — и запечатлел свой донжуанский поцелуй. Мама тогда, как ей показалось, незаметно вытерла руку. Но Григорий Аронович рядом с красивой женщиной превращался в орла: ничто не ускользало от его возбужденного мужского внимания. И хоть все следующие встречи с мамой он по-прежнему сопровождал расшаркиваниями и комплиментами, к руке уже никогда не прикладывался.

В мастерской работало еще несколько человек, однако слушателем своих воспоминаний он выбрал именно меня. Мне и в самом деле интересно, но он, не очень в это веря, подогревает мое внимание психологическими трюками: "Ты знаешь, у тебя есть качество! Их у тебя много, а я уважаю одно: ты умеешь слушать! Тебе просто хочется рассказывать. Ты просто заставляешь тебе что-нибудь рассказать! Я это очень уважаю. Вот, слушай..." И начинается очередная история.

— Это было еще до войны. Тебя еще не было. Я был молодой, не такой как щас... Был такой цех, где делали корсэты... Ты знаешь, что такое корсэт? Вот, их там делали. Что значит — делали? Приходит, допустим, дама. Мастер (я был помощник мастера) выходит, чтобы ее обмерять. Даму. Кто это будет делать при всех? Так у нас была специальная комната. Обмерочная. Меня туда никогда не пускали. Я уже знал, как обмерять, что обмерять, где обмерять, но он всегда говорил мне "рано". И ходил обмерять сам. Ну, ходил и ходил. Однажды он уехал в Управление, а тут подъезжает к воротам машина. Черная такая, на которых очень большие начальники приезжают. И входит дама. Что тебе сказать? Тоже, нивроку, не для таких, как мы с тобой... Дама! С воротником, с вуалеткой... Ты знаешь, что такое вуалетка? Короче, обмерять некому! Такие дамы не понимают "его сейчас нет, приходите потом". Ты догадываешься, как я вышел из положения? Я же все равно знаю, как и что. Я же все равно его помощник. Почему нет? А не хочешь, чтоб мерял я, меряй ты, а я поеду в Управление... В общем, что говорить? Повел я ее в обмерочную. Спрашиваю, что, мол, хотите, а где, чтоб было так, а в каком месте иначе. А я молодой был, не такой, как щас... Начинаю ее обмерять, вот так руками обхватываю и метром вот здесь протя-

гиваю, а она молчит и дышит. И смотрит не на меня, а туда... В сторону... Я меряю ее, меряю, и сам не понимаю, что я делаю... И так, все ближе к кушетке и ближе... А она молчит и смотрит в сторону. И я ее так на кушетку осторожненько, и меряю, меряю... А она молчит... И волосы черные так раскинулись по кушетке, как в кино, и моя рука на ее белой груди... Ну, и...

— Ну? — спрашиваю я.

— Ну, и все. Абгемахт. Она потом встает, одевается, слова не говорит и уходит. Даже заказ не оформили. Только машина мотором зарычала — и уехала. Ну, думаю, все. Дообмерялся, дорогой мой. А время, тебе на долгие годы, было такое, что без всяких обмеров сажали. Ну, я понял — все. Каждый день ждал. Ему ничего не рассказал. Я как думал: рассказать надо, а то он ничего не знает и не будет готов отбрехаться. Но с другой стороны, если я расскажу, он побежит и настучит на меня. Короче, ничего ему не сказал. Ждал уже со дня на день... И — ничего! Я ее потом видел как-то... Красивая дама.

Закончив рассказ, он долго смотрит на меня. Глазки маленькие, хитрые, голубые, слезятся... Бреется каждое утро, но к обеду уже видна щетина. Было похоже, что в этой мастерской сосредоточена вся его жизнь, будто не было у него ни жены, ни детей, ни внуков... Только один раз он не явился утром на работу: были похороны его родного брата. Однако с обеда уже бормотал свое "гвоздик упал, поднимаем гвоздик"... На вопрос, зачем же вы сегодня пришли, ответил рассеянно: "Жизнь идет своим чередом"...

Постоянная война с маленьким коллективом, состоящим из двух пожилых художников и двух девушек-декораторов. И в этой войне — он как рыба в воде. Без нее он как бы и не руководитель... Он за порог — два художника моментально начинают обсуждать очередное его безобразие. Я смотрю на них, одному уже лет сорок пять, а другому — вообще лет пятьдесят... Тот, кому сорок пять, мог бы считаться даже красивым — лоб, губы, подбородок! — но металлические зубы и избыток слюней при разговоре. Когда смеется — просто брызги летят. Тот, кому пятьдесят, суров, морщинист, в два часа дня всегда кипит чайник и ест из стеклянной банки котлеты с пюре, которые приносит из дому в одной и той же авоське. Он маниакально уверен в кознях Григория Ароновича и очень боится прозевать: где еще Гойхман его обошел и вынудил сделать бесплатную работу. Тот, кому сорок пять, пытается "сально" шутить с девушками. Девушки делают вид, что не слышат. Но он несколько раз повторяет шутку, заглядывая в глаза кому-нибудь из присутствующих, и сам хохочет, веером разбрызгивая слюну. Сего-

дня я понимаю, что были они обычными людьми, но тогда, в свои семнадцать, видел их карикатурно упрощенными. А Григорий Аронович, старый и мудрый, все понимает и все видит реально. И ему нравится, что его критикуют за глаза, что боятся вступить в открытый бой. Когда тот, кому сорок пять, комкает в сердцах бумажку и выбегает в туалет, прерывая этим случайно возникшую прямую перепалку, Григорий Аронович весело смотрит на меня и делает такой кивок головой: "Вишел пуреца! Уже обкакался!".

Я посмеиваюсь над Гойхманом... Даже то, что в других мне кажется отвратительным, в нем кажется безобидным и комичным. Бабник, циник и трус. Но я люблю его и такого.

Все знают: нужен еще один декоратор. Витрин много, девочки не могут сидеть в них безвылазно. Бурчат все, Григорий Аронович обещает. Вдруг в один из дней в мастерскую входит юная красавица с библейскими глазищами. К всеобщему изумлению Григорий Аронович не реагирует. Она робко представляется, говорит, что окончила театральный техникум, ищет работу декоратора... Григорий Аронович молчит.

— Григорий Аронович! — возмущается одна из наших двух девушек. — Вы не слышите?

— А? Что? — вскидывается Григорий Аронович и оглядывает мастерскую. — Что?

Девушка еще раз представляется. У меня замирает под ложечкой.

— Нет, нет... — отмахивается Гойхман жестом "ах, вот вы о чем... нет, дорогая, это, к сожалению, уже давно не актуально...". — Нет, у нас все места заняты... — и красиво обводит мастерскую рукой.

Девушка уходит, и через секунду взрыв всеобщего негодования. Григорий Аронович невозмутим: "Щас неподходящее время...".

Девушки-декораторы уходят вдвоем и громко хлопают дверью. Я слышу из коридора приглушенное рычание одной из них: "Медный лоб!".

— Все свои? — заговорщицки оглядывается Гойхман, и я понимаю, что он имеет в виду нееврейское происхождение удалившихся девочек. — Вы, не заметили, что она айдышка? Мне уже директор и так кадухес устроил, что у меня здесь кнессет Израильский! Мне теперь только ее не хватало!..

— Так теперь вы будете антисемит?! — вскипает тот, кому сорок пять.

Григорий Аронович смотрит на меня и, прищурившись, кивает в сторону фонтана из слюней. Его жест означает: "Герой! Ты видел? Моими руками он может все!". И я посмеиваюсь над этими интригами, над этой

пантомимой, над этими "еврей-нееврей", не подзревая, что очень скоро сам уткнулся в эту тему, своей личной жидовской мордой...

— Иди сюда, сядь здесь. Тебе кое-что не хватает. Чтобы быть художником-оформителем, тебе кое-что не хватает.

— Что, Григорий Аронович?

— Ответь мне сейчас: кем должен быть художник-оформитель?

— Кем?

— Нет, это ты скажи, кем.

Я долго подыскиваю ответы...

— Человеком?

— Нет.

— Художником с большой буквы?

— Нет.

— Мастером на все руки?

— Нет.

— Фантазером?

— Нет, думай.

— Спортсменом?

Я растерян, мне уже самому интересно.

— Столяром, скульптором, евреем?

— Нет и нет...

Еще десять вариантов, и на все — нет. Тогда я сдаюсь.

— Кем же, Григорий Аронович?

— П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н Ы М!!! — открывает Гойхман мне великую истину. В его интонации содержатся и "бестолочь", и "господи!", и "чего я только с ним цацкаюсь!"...

Как бы рано я ни пришел, он уже на месте. Я сажусь за свой стол и жду самого интересного, что бывает по утрам. Мы в подвале, а там, наверху — торговый зал. Пол покрыт керамической плиткой. В девять распахиваются высокие деревянные двери, и толпа вливается в залы универсама. Большинство — женщины. Большинство из них — на шпильках. Цоканье их шпильек похоже на стук капель дождя. По нарастающей. Лавиной. И вот через две минуты после открытия начинается непрерывный "дождь". До вечера. До закрытия...

— Все уже! Уже как из ведра, уже можешь начинать работать! — все видит и все понимает Григорий Аронович.

Через много-много лет я пришел туда, в этот подвал, окунулся в эти запахи... Там давно уже склад канцтоваров, давно уже нет на свете Гойх-

мана, и совсем не слышно "дождя"... Нет больше шпильек, нет больше керамических плиток... Только запахи, только запахи...

"Все свои?" — спрашивает Гойхман, имея в виду евреев... А я не знаю, не верю, что эти разные люди для него безусловно "свои", что он чувствует какую-то однородную общность. Я знаю, из всего нашего коллективчика он любит меня и очень уважает Валю Мячину. Ну, она, конечно, уже взрослая, ей уже двадцать один. У нее даже сын есть. Но вижу, для Григория Ароновича это все не важно. Он уважает ее вкус и идеи, и ему плевать, еврейка она или нет. И меня он любит за что-то другое. Мне он не стесняется продемонстрировать свою насмешку над национальными проблемами.

— Слышишь, — вдруг обращается он ко мне в середине рабочего дня. — Что-то у нас тихо... Позови Квазимоню.

Склад канцтоваров, который с годами занял и наше помещение, тогда занимал одну комнату и был через стенку от нас. Грузчиком там был Эммануил Фроймович, Моня. Человек такой необычной внешности, что я стеснялся смотреть на него, боясь, что он перехватит мой взгляд. Низкая талия, короткие ноги и могучие, прекрасные атлетические руки. Руки, чужие на этом человеке. Можно было бы сказать, что у него бычья шея, но шеи у него не было совсем. Голова росла прямо из плеч, и поворачивал он голову, как волк, вместе с этими широченными плечами. И это еще не все. У него не было переносицы. Прямой длинный нос был просто продолжением покатого лба и нависал над очень тонкими лягушачьими губами. Плюс ко всему, он сильно косил... Моня Фроймович жил только событиями Израиля. Весь окружающий мир был для него заплеванным плацкартным вагоном, в котором он говорил о чем-то с соседями, ходил в туалет, курил в тамбуре, заказывал чай... Но мыслями был в гипотетическом пункте прибытия — в Израиле. Новый город, новый теракт, новая песня... — это были фрагменты его жизни... Его ухо было прилеплено, приковано к "Спидоле", к голосу Израиля, а вся местная информация громыхла за окном его вагона. Он и выглядел, как инопланетянин.

— Иди, позови этого еврейского фашиста, — говорит мне Григорий Аронович. Он уже давно не шутит, он привык называть так Моню Фроймовича: Квазимоня или еврейский фашист. Он не шутит, но потешается над тем, что кажется ему нелепой фанатичностью: где мы и где Израиль! Да и что такое Израиль? Чужая планета. Далекая нереальная страна, где все чуждо... Какая-то война, какие-то проблемочки, что-то там африканское...

Моня Фроймович входит возбужденный, видно, что он кипит не первый час. Я ставлю для него стул, прошу сесть, но он ходит туда-сюда по мастерской, размахивая прекрасными чужими руками.

— Вус ин дер курт! — продолжает он речь, начало которой мы не слышали. Я не понимаю, что это значит, но понимаю, что он материт арабов. — Сифилитики, убийцы!..

Он опять слышал что-то по Израильскому радио, у него слезы на его косых глазах. И срывается голос. Он не видит или не обращает внимания на то, что все в мастерской улыбаются, переглядываясь.

— Моня, я тебя позвал, мне ватман нужен. У вас Александрийская есть? Моня Фроймович не сразу понимает, чего от него хотят, машет рукой и выходит. На этот раз развлекаловки не вышло. Обычно он подробно отвечает на вопросы, охотно поясняет темные места, не обращая внимания на дурацкое веселье этих "полугоев", но сегодня, как видно, сообщения по радио были особо трагичными. Мне жалко Квазимону и совсем не жалко израильскую военщину: где мы и где Израиль! Я — как Григорий Аронович. Я — как все.

Григорий Аронович любит, когда ко мне в подвал забегают молодые продавщицы. Он гордится, что я нравлюсь "этим шиксам". Он провоцирует их на откровенность, и прямо светится, если ему удастся вывести их на что-нибудь скабрзное.

— Я сам им всегда нравился, — откровенничает он со мной. — Ты только представь себе: я молодой парень, грудь, как у матроса! У меня был такой успех, какой у тебя еще не был. И где я работаю?

— Где?

— Представь себе, в цеху, где делают презэрвативы. Знаешь, что такое презэрвативы? Гандоны.

— Григорий Аронович, а корсеты?

— Корсэты — да. Я же не отрицаю. А презэрвативы — это уже потом. После корсэтов. Да... Так вот, в цеху двадцать девять молодых девок. Красивые!!! Ну? А я должен стоять и смотреть, как они своими красивыми руками с маникюром снимают гандоны со стеклянных этих... пробирок (я у них был по техконтролю). И пальцы такие ласковые, такие тонкие, как в кино... И ни-ни! Ни в коем случае! Что ты! Одна была из Кишинева... Влюбилась в меня, как малахольная! Она думала, я не понимаю! Я хоть и молодой, но по человеку же видно... Она, когда презэрватив снимала, на меня совсем не смотрела, но так краснела, что я просто видел, с кого она его снимает... Мертвый бы встал... А я удержался. Не надо смеяться, это человеческая драма! Мы же живые люди! Но на работе это не делают. Особенно на такой. Ты не веришь? Вот ни разу! Ни с одной!.. А у тебя нет силы воли. Ты ни одной не можешь сказать "нет". Я же вижу. Они сюда бегают, как к себе домой...

А глаза прищурены, с лучиками морщин, улыбаются, слезятся. И капельки пота на выпуклой верхней губе. Затекают в глубокую ложбинку под носом.

— Кем должен быть художник-оформитель? — спрашивает он, улыбаясь.

— Последовательным! — уверенно отвечаю я.

Григорий Аронович. Он учит меня правильно прибивать гвоздиками ткань, складывать ее так, чтобы получались те или иные складки... Он вместе со мной обливается потом в "выносной" витрине и как школьник взахлеб рассказывает о своей мечте: о витрине "динамической". Рассказывать он любит, он кажется себе Ираклием Андронниковым, он любит сцену, которые рисует...

— Динамическая витрина! Ты знаешь, что это такое? Я тебе скажу, где я встретил войну. Я был в витрине. Мы делали выставку-продажу к осеннему сезону. Сидел такой джаз-оркестр из кукол с пружинками внутри, и он должен был работать от моторчика. Я все придумал сам — первый в Одессе. В мастерской работало, а в витрине еще не пробовал. Ну вот, я это все смонтировал, включил репродуктор и стал наклеивать на стекло большие такие осенние листья. Думал, наклею, запущу оркестр и посмотрю с улицы, как получается. В левой у меня, значит, пачка листьев, правой я клею... И вдруг из репродуктора: "Говорит Москва...". И оп-пай, заяц! Сообщают насчет войны. Я прямо остолбенел. Стою так, с поднятыми руками, а листья из левой руки так и падают на пол витрины, так и падают... Медленно так, как в кино... Вот... Так с этим джазом ничего не вышло. Двадцать лет после войны прошло, а я все мечтаю... Простые манекены людям не нравятся, они на людей не похожи. А куклы с моторчиком похожи. Кнопку нажал, и они делают тебе, что положено. И под музыку...

— А для чего это, Григорий Аронович? Что они рекламируют, кому это нужно?

— О! Ты как эти! Они мне тоже устроили пресс-конференцию! Ничего, не бойся, у кого есть мозги, тот без всяких вопросов все понимает...

Как я тогда удивился! Что мог иметь в виду такой человек как Гойхман, таинственно говоря о куклах с моторчиком, похожих на людей? В те времена в любой фразе я готов был углядеть фигу в кармане, аллегория, протест...

Кем я должен быть? Ну конечно, последовательным! Уж кто-кто, а я знаю: не ваше это ампула, Григорий Аронович, диссидентствовать. Даже

в мыслях вы не были способны, не то что в каких-то витринных акциях. Все я тогда подгонял под трафареты. Упрощал одно, усложнял другое. Любовался придуманными образами... А листья из левой так и падали, так и падали... Ничего такого не имели вы в виду, просто хотели видеть свою несбывшуюся динамическую фантазию, свой наивный джаз-оркестр с моторчиком.

Шел 65-ый год, мне пора было готовиться в институт, и я бросил старика вместе с его допотопной динамической витриной... В Одессе поступить не получилось, национальные проблемы встали во весь рост, и я уехал в Воронеж, который был полон студентами с Украины. Когда я вернулся, Валя Мячина уже укатила с мужем в Москву, пятидесятилетний (уже шестидесятилетний) художник уволился. Вдруг заболел и за какие-то полгода сгорел мечтатель Квазимоня, так и не узнав, что получил разрешение на выезд. Керамические плитки заменили мраморной крошкой... Но в самой главной витрине сидел бодрый джаз-оркестр во фраках и с бабочками и наяривал что-то, механически шевеля руками и головами. Самое главное случилось без меня. Григорий Аронович, мне одному доверивший свою мечту, соорудил все сам. Сам доказывал, пробивал, доставал, устанавливал...

Гойхман очень постарел, потух... Сидел дома. Меня встретил радостно, но быстро остыл. Оживился один раз, когда вспомнил, что мой отец фотограф.

— Попроси его, пусть сфотографирует мне динамическую витрину, они же спят и видят ее разобрать. У меня уже нет сил с ними бороться. Я тут встретил как-то твою маму, просил ее, но я не вижу результатов. Что она поделывает?

— Хорошо, Григорий Аронович, я передам. А как жена, как внуки?

— Тьфу-тьфу-тьфу... Все работают... Про фото не забудь...

Папа сделал фото. Не сразу. А потом, позже. Григорий Аронович уже умер. Я нашел это фото через много лет, когда умер сам папа. Оно лежало в конверте с надписью "Гойхман". Я присмотрелся к снимку, и мне показалось, что это и вправду, несколько веретенообразных гойхманов. Во фраках и с моторчиком, все еще вертящимся в моей памяти, но тоже уже потихоньку сбавляющим обороты...

Красные полотнища на облупленных фасадах старинных домов с утра горбатились парусами и опадали безвольной мотней поверх оконных проемов и разбитой лепнины. Прилизанные бороды и усы вождей по воле ветра грозно напрягались, и, казалось, вот-вот могли лопнуть от натуги, но щадящая стихия тотчас сплющивала набухшие щеки и выпяченные глаза. Лишь портреты в рамах, замершие в парадных минах, горделиво трепыхались под пощечинами и поглаживаниями весеннего воздуха.

На далеком небе, оторванном от земных забот, клочками взбитой ваты чинно покачивались редкие облака и бесстрастно озирали черно-белую твердь, принаряженную молодой зеленью.

Там, внизу, у самого вокзала, не доходя до гранитного идола с вытянутой рукой, потоки людей под дубасящий грохот духовых оркестров вливались из множества улиц в одну разбухающую колонну. Колонна ползла к деревянным трибунам, на которых со штампованными лицами, окаймленными "полубоксом", разместились городское руководство — на возвышении в центре — и те, что помельче, — на нижних боковых ярусах. Нижние ревниво поглядывали на верхних, а верхние торжественно взирали на колышущуюся у их ног многоликую реку. Временами одна из центральных фигур, одетых в длинные мышинные макинтоши и зеленые велюровые шляпы, с энтузиазмом махала рукой и выкрикивала в пузатый микрофон лозунги в честь любимого друга народов, любимой партии, любимой армии, любимой промышленности и многих других любимых... Горожане с вывернутыми шеями замедляли шаг, орали "ура" и с любопытством разглядывали живых начальников. Миновав трибуны, колонна расплескивалась на быстрые ручейки, которые устремлялись по боковым улочкам и переулкам назад, к старой части города.

Далеко позади, на круглой площади, толпа ленивой гусеницей растеклась по мостовой вокруг развороченного пьедестала от снесенного памятника Екатерине Великой, и дальше по мосту над припортовым спуском — до самого Нового базара. Громыхали производственные оркестры, выдувая из медной утробы радостные всплески маршей. В просветы звукового шквала врывались крики детей, свист "уди-уди", голоса взрослых и нахальные шалости одиноких гармоней. Пахло дешевой парфюмерией, потом, разлитым ситро и густым сапожным кремом. Весеннее солнце все решительнее заяв-